

«ГОВОРЯ С ТОБОЮ ЧРЕЗ ПИСЬМО...»¹

Письма М.Н. Муравьева

(Часть II)

Рассматривая письма М.Н. Муравьева сестре, которые в большинстве случаев являются как бы «приписками» к его же письмам отцу, можно убедиться, что между русским и французским типами эпистолярной манеры происходит системное распределение тем и стилей.

Русскоязычные части изобилуют «мелочами» быта – от повседневных, литературных, культурных и светских новостей и выражения «чувствований» до «последнего крика» моды и забот об оставленной дома старой собаке Фовушке: «Г. Дорат выдал комедию “Les grôneurs”, где всех писателей портреты ругательные². – Сестрица! Нынче барыни носят высоко тупей по-мужскому. Он весь ровен, рогов нет назад, верх немного вперед выгнут. – Фовушку береги, матушка, да вели вымыть» (272). Многообразие тем влечет за собой и богатство стилистических регистров, диапазон которых может распространяться от бытового «разговора» (1) до комплиментарности светской вежливости (2), от стиля научно-популярного изложения (3) до грубо-просторечных выражений, неприличных для дамского уха (4):

«(1) Чем могу отплатить тебе за то, что ты подарила мне свою работу? Я тебе сто раз кланяюсь в землю. Столько ж одолжен я тебе за прекрасное письмо, которым провождала свой подарок. (2) Оно так справедливо мышлено, что cela fait plaisir. Ты, право, прекрасна как книга <...> (1) О твоём физическом вопросе получишь ли довольное изъяснение, не знаю. (3) Вам известно, что воздух есть вместилище звука, что слух наш ударяется воздухом. <...> – (4) Можно ли, что де ла Тур, эдакий скот, присволяет

мои книги. Я не могу вздумать, не осердясь. Я говорил с ним про Буало? Когда это? Так бесстыдно лгать на живых? <...> Нижайше тебя прошу у этого сукина сына как-нибудь достать его. Прости, матушка, что я так рассердился и себя позабыл» (309).

В более позднем письме на ту же тему дается эвфемистический «перевод» ругательных слов в регистр светского общения с характерным комментарием на французском языке: «Сделай милость и возьми, матушка, у этого нахала (*je me fais violence en le nommant si doucement*) мои книги Буало и Сумароковы оды» (334).

При этом Муравьеву удается передать графически – наряду с лексическими и синтаксическими – и интонационные особенности разных стилей. Особенно часто и многообразно использует он многоточие и тире – орфографические знаки, которые позже, под пером Карамзина, превратятся в сигнал эмоционально-насыщенного разговорного интонирования в прозе. Изредка тенденция фамильярно-интонационного «озвучивания» письма приводит также и к ритмизации прозаического текста, включающей тривиальные эпистолярные рифмованные клише (типа «Я тебя прошу не скучать и на это письмом предолгим отвечать»; 301) и шуточно-галиматийное обыгрывание рифмами эпистолярных шаблонов («Скажи, пожалуйста, маминька, пишет ли что-нибудь к вам **Даша**? Пишет ли **Любаша**? Хоть только то: навек услужница я **ваша**. И жив ли **Баша**? И жив ли **Чурка**? Об этом отписать тебе вить не **фигурка**, за занавесой ли еще моя **конурка**?» 295). Здесь же возможна имитация раешного ритма, плавно переходящего в стихи-цитату из оды классического автора: «Сегодня пир: / сегодня пить, // ногой свободной / о пол бить. // Столы покройте сладкой брашной. / Со мной вы сядьте в круг, друзья, / Пусть сам предстанет бог домашней, / В убранстве праздничном, как я. // Вить это говорит Гораций, книга I, ода 37» (289). Стремление воспроизвести особенности разговора приводит, таким образом, и к попытке внести в эпистолярный текст звуко-

вые и интонационные элементы устной речи, которые, однако, у Муравьева получают слегка утрированный, «цитатный» характер внутри основной, письменной установки писем.

Другим сигналом смены стилового регистра может служить варьирование формы обращения, актуализирующее актантную позицию адресата. Во вставках и текстах на французском языке Муравьев последовательно использует этикетно-обязательное, а тем самым – нейтральное³. Это свидетельствует о том, что французский сегмент его писем, строящийся из плотно прилегающих друг к другу кирпичиков формулировок, идиом и формул вежливости, парафраз, эвфемизмов языкового, эпистолографически образцового или литературного происхождения, практически не требовал «спайки» индивидуальным стилем. Сложнее обстоит дело с обращениями в русских частях писем, что особенно заметно на фоне последовательного использования обращения на «вы» в письмах к отцу, выступающего уже как нейтральная норма. В письмах сестре форма обращения меняется не только в традиционных формулах приветствия и прощания в обрамлении и в самом тексте письма, но одновременно это служит знаком перехода от нормированных («вы») к неупорядоченным просторечно-бытовым («ты») стиливым регистрам. Притом эти переходы становятся стилистическим сигналом реализации тематического принципа *varietās* в мозаично-фрагментарной композиции писем.

Многообразие эмоциональных интонаций и стилистических «слов» создает тон непосредственности и безыскусственности «отсутственного разговора» с сестрой. Именно здесь автор писем подходит ближе всего к модели письма-беседы, к воссозданию более конкретного образа своего адресата. Однако это действительно «создание», а не «бытие» адресата в эпистолярной структуре. Образы отца и сестры не обладают своими обособленными временно-пространственными координатами. В письмах Муравьева господствуют локус и время автора, которые определяют всю структуру

текста, вплоть до стиля и внешнего вида писем (см., например, шутивно-игровые автокомментарии: «Я пишу в сумерки; так и слог мой сумрачен, не прогневайся», 300; «я пишу в потемках. И не знаю прочтешь ли ты», 343). Тем самым, дневниковый характер этих писем реализуется как эгоцентризм «здесь и теперь» пишущего, как синхронизация совершения действия, момента написания и восприятия текста, в рамках которого учет «взгляда» адресатов становится одним из компонентов осмысления автором самого себя⁴. В обоих случаях позиция корреспондента-получателя определяется не его собственным кругозором и словом, а либо экстралингвистическими параметрами отношения автора писем к нему (в письмах к отцу), либо текстовой стратегией⁵, «художественным императивом» превращения «стихийной интенсивности своего ‘я’»⁶ в эстетически и стилистически выразимую культурную ценность (в письмах сестре).

В своей «диссертации» «Рассуждение о различии слогов высокого, великолепного, величественного, громкого и надутого», прочитанной на заседании Вольного Российского собрания при Московском университете 10 декабря 1776 года, М.Н. Муравьев фактически уже подменял «классицистическую идею однозначного соответствия стиля жанру и предмету изображения идеей бесконечного многообразия оттенков стиля» и декларировал идею индивидуального стиля⁷: «Я прежде сказал: образ размышления определяет слог. Есть нечто напечатленное в душе нашей, которое и выражением нашим владеет. Природа ли, или привычка его образует; но всякий имеет свой собственный слог. Пусть кто-либо и тщится разумным подражанием присвоить себе слог другого; однако же все будет что-нибудь такое, которое одному ему принадлежит»⁸. Поэтому не случайно, что предметом метатекстуальных автокомментариев и в письмах Муравьева является чаще всего их «слог». Только в одном изолированном случае рефлексия над процессом написания и его результатом получает «жанровый» аспект: «Может быть, недолго продолжится наша переписка и роман окончится

приездом героя в Тверь затем, что описания станций, ямов и ямщиков не столь блистающи, как переезд из Карфагена в Сицилию, и что промеж Тверью и Новгородом не разъезжают корсары, чтобы утащить в Алжир...» (322). Здесь повседневность «эпистолярного романа» о «путешествии» в Тверь самоуничижительно-иронически противопоставляется занимательности, «сюжетности» исторических и авантюрных романов. Однако все же «внутренней формой» писем Муравьева к сестре стало именно образование собственного многопланового, индивидуально-неповторимого стиля, а тем самым – образование себя.

Итак, обобщая наблюдения над текстом рассмотренных писем Муравьева к отцу и сестре, можно выделить несколько существенных моментов. Первый из них – наличие двух коммуникативных установок. Письма отцу (как было указано в первой части статьи) создавались в соответствии с нормой русской бытовой эпистолярности середины XVIII века. Социально-идеологическим пространством эпистолярного общения с сестрой предстает «натура», понимаемая в духе просветительски-сентименталистского комплекса идей. Родство и «дружество» осмысляются как естественный «залог» общения:

«Природою мне велено тебя любить, но разум мой приемлет более свои собственные повеления. Я столько же люблю тебя, как любви моей достойную, как должен любить в тебе и сестру» (292);

«Si mon âme est capable des sentiments d'amitié pour une belle âme, ma chère! Que dois-je à l'Être suprême de m'avoir fait une douce loi de t'aimer! Si la nature me parle, ses premiers discours sont pour toi» («Если душа моя способна испытывать дружеские чувства к прекрасной душе другого, милая моя, насколько же я обязан верховному <езде>Сущему, внушившему мне сладостный закон любить тебя! Если природа ко мне взывает, первые ее речи о тебе», 293);

«Из первых благодеяний, которыми меня оделила природа, есть дружество твое. Когда бы меня все оставили, я еще имею залог, тебе поверенный: от тебя я его востребую, востребуй ты его от меня. Надобно, чтоб наши сердца разумели друг друга, чтоб сей священный союз укреплен был нами. Ты должна влить в сердце мое те добродетели, которые в глазах твоих делают любви достойным» (341).

Тем самым обращения к женщине, к сестре-другу, приобретали программный характер. Для Муравьева, как и для многих его современников, «так называемый женский взгляд становился реализацией вечно человеческого»⁹, субстанциональности общения. «Естественностью» определялись не только тематический уровень и позиция адресата, но и план выражения, ориентированный на непринужденность и на многоплановость идеостиля писем.

Второй момент, на котором стоит остановиться, это проблема «литературности» писем Муравьева. Чаще всего проявления литературности исследователи усматривают в том, что в письмах значительное место занимают сообщения и высказывания насчет современной им русской и европейской литературы, что некоторые из них, «на первый взгляд имеющие совершенно личный характер, на деле навеяны литературой, если даже не являются прямыми литературными реминисценциями <...> Письма М.Н. Муравьева 1777–1778 гг. представляют явление литературного порядка. В них есть тема, есть герой, для которого письма являлись школой ‘чувствований’, лабораторией сентименталистского отношения к миру»¹⁰. Далее, подчеркивалось, что «автором писем выступал писатель, поэт. Поэтому письма не только литературно обрабатывались, но и фиксировали <...> его стремление определить свою эстетическую позицию»¹¹. Такие оценки, на мой взгляд, содержат слишком расширительное и одновременно несколько абстрактное представление о литературности эпистолярных текстов Муравьева¹². Мне кажется, им вряд ли необходима легитимация литературно-

стью. Можно согласиться с теми исследователями, которые утверждают, что «письмо и литература – эти две ‘словесности’ – существуют, сохраняя свое единство и ‘автономию’, но непрерывно взаимодействуя и взаимообогащаясь»¹³, к тому же – выполняя разные функции¹⁴.

Русские письма, (в частности, письма Муравьева) с середины XVIII века, как мне кажется, свидетельствуют, в первую очередь, о произрастании в русской культуре «искусства самости» (*les arts de soi-même*¹⁵, по словам М. Фуко¹⁶). В письмах и во фрагментарных записках типа муравьевских «Дщиц для записывания» (опубликованы в 1778 г. в журнале Н.И. Новикова «Утренний свет») или в более поздних «Разных отрывках (Из записок одного молодого Россиянина)» («Московский Журнал» за 1792 г.) Карамзина вырабатываются техника осмысления «внутреннего образа просвещенного, чувствительного человека» и практика передачи «его размышлений и чувств, ассоциаций, возникавших независимо от его воли, <...> следовавших друг за другом без видимой логической связи»¹⁷. Форма фрагментов (*hupomnēmata*) чаще всего являлась не «фиксацией эмпирического, бытового материала»¹⁸, простым «рассказом о себе», а скорее, «фиксацией ‘уже сказанного’, накоплением услышанного и прочитанного <...> цель которого – сотворение самого себя <...> в условиях культуры, приверженной традиции <...>». Записывание и выписывание фрагментов из чужих – авторитетных и утвержденных традицией – «логосов» превращалось в средство «аутотренинга» благодаря тому, что в процессе написания происходила «ассимиляция прочитанного», а в «игре записывания, ассимилирующего прочитанное, рождалась идентичность человека с самим собой»¹⁹ (Перевод мой – Д. А.-С.). Техники открытия и совершенствования «самости», «заботы о себе», «внутреннего анахоресиса» требовали постоянного формализованного режима поведения:

«Здесь и размышление, и чтение, и составление выписок из книг и записей бесед, к которым стоит возвращаться, и припоминание истин, хо-

рошо известных, но требующих более глубокого осмысления <...> Сюда же относятся беседы с наперсником, с друзьями, с учителем или руководителем; прибавьте к этому переписку, где сообщают о состоянии духа, просят советов, дают их нуждающимся <...> Вокруг заботы о себе, таким образом, разворачивается бурная деятельность (как устная, так и письменная), в которой тесно переплетались работа над собой и общение с другими. Так мы подходим к одному из важнейших аспектов заботы о себе: по существу эта деятельность предполагает не упражнение в одиночестве, но поистине общественную практику. <...> Действительно, она часто практикуется структурами, более или менее институализированными»²⁰.

Таковыми структурами в русской культуре второй половины XVIII века можно считать, с одной стороны, поток корреспонденции, ставший регулярным и типичным явлением, с другой – наличие группировок, объединяющихся вокруг наставника-лидера (как, например, «типографическая компания» Н.И. Новикова, воспитавшая целое поколение писателей, переводчиков, публицистов и читателей). Ту же задачу выполняли масонские ложи, сплавляемые общими «работами над диким камнем» самости и совместным «строительством внутреннего храма» каждого одного из братьев-каменщиков (см., активизацию семантики «душевного родства» в обращении «брат» в масонской переписке²¹). Сюда же относятся «муравейник»²² и другие похожие на него семейственно-дружеские «гнезда» и дружеские кружки²³, которые «вдруг» становятся все более заметным фактором социальной коммуникации в этот период.

Возвращаясь к вопросу о литературности писем М. Муравьева, стоит подчеркнуть, что, по моему мнению, во многих случаях русские письма и «дщицы для записывания» (*hypomnemata*) 1760–1790-х годов оставались преимущественно формами культурно-значимых высказываний не литературного, а социально-ментального дискурса «заботы о себе», «искусства самости». С одной стороны, как выше было показано, металингвистиче-

ские и метатекстуальные рефлексии по поводу самих писем, особенно характерные для переписки Муравьева с сестрой, можно интерпретировать главным образом как авторское осмысление собственного индивидуально-го стиля, равнозначное самоидентификации и перестройке собственной личности. С другой – тот факт, что сам эпистолограф сравнивал переписку с романом («Переписка друзей не в одно только время продолжения ее полезна. Это история сердец, чувствований, заблуждений. Роман, в котором мы сами были действующими лицами»), на который часто ссылаются в научных работах²⁴, на самом деле свидетельствует не о литературности его эпистолярной установки. Скорее, речь идет о том, что письма ощущались автором как бы передачей «полезной» информации о себе – себе же во времени, т.е. в направлении «Я – пишущий письма» ↔ «Я – перечитывающий письма», в результате которой он «внутренне перестраивает свою сущность», а текст писем «используется не как сообщение, а как код, <...> и трансформирует самоосмысление порождающей тексты личности и переводит уже имеющиеся сообщения в новую систему значений»²⁵. Именно обозначением новой системы значений оказывалась, на мой взгляд, метафора романа. Это очень «своеобразный роман»²⁶, который обретает свой сюжет и своих героев лишь ретроспективно. «Образ человека строится в самой жизни, и житейская психология откладывается следами писем, дневников, исповедей и других ‘человеческих документов’ <...> Мемуары, автобиографии, исповеди — это уже почти литература, предполагающая читателей в будущем или в настоящем, своего рода сюжетное построение образа действительности и образа человека; тогда как письма или дневники закрепляют еще не предрешенный процесс жизни с еще неизвестной развязкой»²⁷. Наряду с этим не стоит забывать, что для русского жанрового мышления этого периода, и в частности, для самого Муравьева, принадлежность романа к «литературе» далеко не однозначна²⁸.

Таким образом, рассматриваем ли мы письма М.Н. Муравьева со стороны дискурса, «событием» которого они становятся (М. Фуко)²⁹, или с точки зрения «автокоммуникативной модели» текста (Ю. Лотман), или в аспекте ретроспективной авторской оценки их значения, в любом случае мы имеем дело с формой выражения «величественного размышления самого себя»³⁰. Литературность, однако, является для нее лишь вторичным признаком, возникающим чаще всего как филологическая экстраполяция осмысления более позднего, действительно литературного развития эпистолярной формы в контексте субъектного литературного дискурса последующих десятилетий. Хотя жанр письма и сочетающиеся с ним дневниковые фрагменты и записки представлены исключительно многообразно у писателя³¹, однако «Муравьев подчинялся шаблону, печатал оды, басни <...> а все то, в чем он действительно опередил всех, оставлял незаконченным в черновиках»³². Среди этих незаконченных, не опубликованных им самим или не ставших сразу «валидным высказыванием»³³ русской культуры эпистолярных произведений Муравьева была, среди прочего, и эпистолярная «педагогическая» трилогия писателя, которая в первые десятилетия XIX века подверглась переосмыслению и переоценке в новом, «карамзинистском» контексте литературы и культуры. «Предстателями за Муравьева перед духом-судьей [*русской культуры*] оказываются пятеро лучших – и более того – великих русских писателей с рубежа 70–80-х годов XVIII века по 20-е годы XIX – Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин»³⁴, прямо или опосредствованно унаследовавших после него технику и средства усовершенствования «культуры себя».

С проблематикой «наслаждающегося размышления самого себя» связан и третий момент, определяющий культурную значимость писем к родным Муравьева. В них, как и в «Дщицах для записывания» (восходящих к дневниковым записям для себя), в «Утренней прогулке» (конец 1780-х гг.), в «Путевых журналах» (замыслы трех эпистолярно оформленных «путе-

шествий» – «Журнала путешествия в Оренбург», «Трех писем» и «Путешествия праздного человека») интерес вызывают мимолетные действия, состояния и впечатления. «Путешественник единого часа»³⁵, каким осмысляет себя автор, вступал в «зону контакта с незавершенным событием современности»³⁶. В этом плане эпистолярные тексты Муравьева, включая его письма родным, становятся осмыслением его интимного настоящего, тихо перетекающего в воспоминание: «Для меня истинное наслаждение <...> развернуть мои рукописи и видеть в моем журнале все прежние радости мои и печали. Я могу обратить взоры на постепенно уходящую жизнь, как странник с высокого холма, обзоревающей извивающуюся дорогу целого утра»; ПСС. Ч. 3. С. 261. Одновременно они регистрируют тот момент развития русской культуры, когда настоящее постепенно овладевает «человеческой ориентацией во времени и в мире, [когда] время и мир утрачивают свою завершенность <...> становятся историческими: они раскрываются, пусть в начале неясно и спутанно, как становление»³⁷.

Итак, я постаралась на материале частных писем М.Н. Муравьева показать, как происходила контаминация двух эпистолярных установок. «Слог» и содержание этого корпуса определялись, с одной стороны, экстралингвистической ориентацией (на социально-иерархический этикет и ритуал, на патриархальную семейственность отношений) русской эпистолярной нормы, засвидетельствованной письмовниками середины XVIII века. С другой стороны, от французских образцовых писем из *arts épistoliers* и от эпистолярных романов эпохи шел импульс стилистики утонченной «естественности чувствований» и «наслаждающего размышления самого себя», востребованной актуальной культурной ситуацией в России. Муравьеву удалось, «себе присвоив / Чужой восторг, чужую грусть»³⁸, восходящие к этим традициям, создать своеобразный сплав двух – внелитературных с точки зрения «высокой пиитики» – стилевых и тематических регистров. Этот творческий подход к идентификации самого себя в слогe пи-

сем привел Муравьева к «образованию» собственного стиля, богатого оттенками и переходами, стиля одновременно индивидуального и типового для русской культуры второй половины XVIII века. В то же время в подобном, пока несколько эклектическом сплаве двух эпистолярных норм брал начало процесс функционально-языковой дифференциации писем. В результате этого к концу века возникнет ситуация «эпистолярного двуязычия», когда речь будет идти не только о конкурентности двух языков – французского и русского – в эпистолярной практике, но и о складывающейся возможности бинарного противопоставления кодов (русской, респективно – французской эпистолярности, прозаического – стихового кода³⁹) эпистолярных текстов.

К этому следует добавить, что и вектор изменений внутри литературного и «окололитературного» эпистолярного жанрового ряда начинает сближаться с направлением сдвигов, описанных выше на примере бытовой переписки М.Н. Муравьева с родными. Выработка индивидуального (в частности, эпистолярного) стиля, «культура самости», манифестирующая себя в письмах и посланиях, параллельна возникновению особых поведенческих амплуа «эпистолярной личности»⁴⁰, к «выбору <...> идеализированного двойника реального человека»⁴¹, выражающего его самооценку и определяющего восприятие его личности окружающими. Это амплуа, безусловно, опиралось и на европейскую традицию эпистолярности⁴², прочно вошедшую к тому времени в сознание русской культурной прослойки.

Наиболее существенные черты инвариантов русского *homo epistolāris*, однако, коренятся преимущественно в специфике жизни русской образованной прослойки второй половины XVIII века. Это всегда **частный человек**, вырванный конкретным событием (поездкой), экзистенциальными причинами (службой в Петербурге или, наоборот, жизнью в поместье) или, в конечном итоге, глубинными условиями общего уклада жизни всего социума (нарождающимся ощущением культурной изолиро-

ванности дворянской интеллигенции, с одной стороны, от общенародной стихии, с другой – от «служилой» или «малообразованной» части собственного сословия и, наконец, – от государственности) из стабильного, «естественного» бытия. Однако, этот статус „просвещенного“ человека конца XVIII – первых десятилетий XIX века приводил его пока не к отчаянию и раздвоенности, а, наоборот, стимулировал проявления его потребности в общении, с одной стороны, с миром его ближайшего окружения (с самим собой и с «другом», воплощающим категорию другого) и с миром более широким, чем его социальное бытие, с миром природы и человеческой культуры, частью которой он ощущает себя. В общей сложности, результатом всех выше указанных явлений стала перестройка модуса социального, культурного и литературного дискурса, изменение состава валидных для культуры высказываний.

На передний план культуры выдвигаются жанры «высказываний» автокоммуникативного и диалогического типа. Вторую половину XVIII века можно охарактеризовать и как период взрыва жанров самоосмысления личности и автобиографизма: дневников, записок, исповедей и мемуаров⁴³. В то же время в культуре периода наряду с публицистикой и эпистолярностью одним из наиболее ярких и заметных явлений, воспроизводящих разные ситуации «диалога», был театр. «Модель театрального поведения, превращая человека в действующее лицо, освобождала его от автоматической власти группового поведения, обычая»⁴⁴ и одновременно вырабатывала в нем новые техники диалогического общения. Все эти факты культуры говорят о том, что еще одним из условий валидности высказывания культурной коммуникации становится стремление к его достоверности, к искренности и правдивости говорящего и его отношения к своему адресату, доведенных до виртуозности и художественного артистизма, т.е. стремление к качествам, репрезентантом которых становится эпистолярный жанр.

¹ См. примеч. 1 к первой части статьи: *Атанасова-Соколова Д.* «Говоря с тобою чрез письмо...». Письма М.Н. Муравьева (Часть I) // Филологический журнал. 2006. № 1 (2). С. 33–34.

² Речь идет о комедии «*Les rôtisseurs, ou le Tartuffe littéraire*» («Пустомели, или Тартюфы литературы», 1777) французского поэта и драматурга К. Ж. Дора (Dogat), сатирически изображавшей литературный быт Парижа. Подробнее см.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 368. Цитаты из опубликованных писем М.Н. Муравьева даются по этому источнику с указанием страницы.

³ Только в одном случае Муравьев нарушает это правило, переводя на французский интимное русское обращение: «Это все вздор, что я тебе напишу. <...> Maman! Je t'aime de tout mon cœur, je baise tes petites pattes (*Маминька! Я тебя люблю ото всего сердца. Я целую твои ручки*)» (332).

⁴ Такое отношение к адресату было не единичным в то время. А.Т. Болотов, например, сохраняя память о рано умершем друге Н.Е. Тулубьеве, переписал, переплел в отдельную тетрадь и снабдил рисунками и виньетками не его, а свои собственные письма к нему. См. об этом: *Лазарчук М.Ю.* Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы: Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1972. С. 23. «Памятью» о дружбе было не сохранение материального «отпечатка» ушедшего друга (его писем, его слов), а отразившееся в письмах самого Болотова переживание дружбы к нему.

⁵ В уровневой модели интерпретации текста, принятой теорией коммуникативной грамматики, это одна из ступеней организации текста: А – языковые средства; В – коммуникативные регистры; С – текстовая тактика («комплекс языковых и речевых приемов построения текста»); D – текстовая стратегия, в которой «воплощается замысел, 'сверхзадача', художественный императив, мировоззренческие и прагматические интересы» (*Золотова Г.А., Онисенко Н.К., Сидорова М.Ю.* Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998. С. 445).

⁶ *Баткин Л.М.* Европейский человек наедине с собой. М., 2000. С. 272.

⁷ *Фоменко И.Ю.* М.Н. Муравьев и проблема индивидуального стиля // На путях к романтизму: Сб. науч. трудов. Л., 1984. С. 55.

⁸ ГПБ. Ф. 499. № 48. С. 3. Цит. по: *Фоменко И.Ю.* Указ. соч. С. 54, где содержится и подробный анализ источников восприятия стилистических идей и принципов, тогда еще сравнительно новых для русской литературной теории и культуры.

⁹ *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века). СПб., 1994. С. 74.

¹⁰ *Кулакова Л.И., Западов В.А.* Комментарий и примечания к письмам М.Н. Муравьева // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 360.

¹¹ *Макогоненко Г.П.* Письма русских писателей XVIII в. и литературный процесс // Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 34.

¹² Представители такого подхода, по словам американского ученого, пользуются «общей научной аналогией для эпистолярного творчества: письмо – это 'лаборатория' языковых и литературных 'экспериментов' писателя. Подобно многим аналогиям, эта столь же обманчива, сколь полезна. Хотя письма могут виртуозно использовать возможности языка, в неоклассический период русской литературы (*литература начала XIX века*) их виртуозность была скорее самоцелью, нежели средством развития чего-то, лежащего вне их пределов» (*Тодд III, У.М.* Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху / Пер. с англ. И. Куберского. СПб., 1994. С. 16).

¹³ *Лазарчук М.Ю.* Указ. соч. С. 12.

¹⁴ *Росси Л.* К вопросу о соотношении эпистолярной и художественной прозы в России в последней четверти XVIII века // *Slavica Tergestina 2: Studia Russica. Triest*, 1994. С. 91–115.

¹⁵ Понятие иногда переводят и как «культура себя» (*Фуко М.* История сексуальности—III: Забота о себе / Пер. с франц. Т.Н. Титовой и О.И. Хомы. Киев; М., 1998). Я позволила себе перевести его словом «самость», которое – учитывая толкование Даля («самоличность, одноличность, подлинность; истость || самостоятельность и стойкость»), кажется мне более емким аналогом французского термина Фуко. Выбор терминологического использования «самости» подкрепляется и его употреблением, среди прочего, в русских переводах работ П. Рикера, где «термин 'идентичный' связан с понятием 'самости' (ipséité), 'себя самого'» (*Рикер П.* Повествовательная идентичность / Пер. К. Дрязгунова // *Philosophy.ru*: философский портал [Электронный ресурс]. Электронные данные. [М.?], 2006. Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/library/ricoeur/iden.html>, свободный. Заглавие с экрана. Данные соответствуют 8.09.2006).

¹⁶ *Foucault M.* L'écriture de soi (1983) // *Foucault M.* Dits et Ecrits: En 4 v. / Publ. sous la direction de D. Defert et F. Ewald. V. IV. Paris, 1994. P. 415–431. В дальнейшем мой перевод сделан на основе венгерского издания: *Foucault M.* Nyelv a végtelenhez. Debrecen, 1999. P. 331–343.

¹⁷ *Тетени М.* Ранние произведения русского сентиментализма // *Studia Slavica Hung.* Т. 25. Budapest, 1979. P. 420.

¹⁸ *Фоменко И.Ю.* Из прозаического наследия М.Н. Муравьева // *Русская литература.* 1981. № 3. С. 118.

¹⁹ *Foucault M.* Nyelv a végtelenhez. P. 334–337. (Перевод мой. – Д. А.-С.)

²⁰ *Фуко М.* Указ. соч. С. 59. Я позволила себе привести столь длинную цитату из труда французского философа по двум причинам. Во-первых, потому что, на мой взгляд, она подтверждает мое предположение о причастности многих русских писем второй половины XVIII века не только и не столько к литературному дискурсу или к стихийному гулу быта. Во-вторых, знаменательно, что М. Фуко проводит свою идею в связи с «феноменом всплеска римско-эллинистического 'индивидуализма'» (Там же. С. 49), вершиной которого стала эпистолярность «золотого и серебряного веков» римской культуры (подробнее см. в работах: *Атанасова-Соколова Д.* Вводные заметки к культурологии античной эпистолографии // *Русская литература между Востоком и Западом = Magyar Ruzsisztikai Intézet: Ruzsisztikai Könyvek. IV: Сб. статей / Под ред. Л. Силард.* Budapest, 1999. С. 9–27; *Атанасова-Соколова Д.* Письмо как факт русской культуры XVIII – первой трети XIX веков: Заметки к теме // *Russica Hungarica: Исследования по русской литературе и культуре. Русистика в Будапештском университете. Сб. статей / Под ред. Ж. Хетени.* Budapest; М., 2005. С. 4–23.). Это стало для меня лишним подтверждением существования по крайней мере двух культурных моделей эпистолярности, вторая из которых, римско-эллинистическая, может рассматриваться в качестве прообраза русской эпистолярности второй половины XVIII – начала XIX века.

²¹ *Барсков Я.Л.* Переписка московских масонов XVIII века (1780–1792 гг.). Пг., 1915.

²² Этим словом историк объединяет автора рассматриваемых мной писем и других членов семьи Муравьевых, связанных узами родства и дружбы, а в первой четверти XIX века, в следующем поколении – и более тяжелыми цепями убеждений и судьбы «политических преступников» (из этой семьи вышло семеро декабристов. См.: *Эйдельман Н.Я.* Твой 18-й век // *Эйдельман Н.Я.* Твой 18-й век. Прекрасен наш союз... М., 1991. С. 155).

²³ Сюда относится, например, кружок М.М. Хераскова, возникший среди студентов Московского университета на переломе от 1750-х к 1760-м гг. и позже «переехавший»

вместе со своим основателем в Петербург (*Аронсон М.И.* Кружки и салоны // *Аронсон М.И., Рейсен С.А.* Литературные кружки и салоны / Ред. и пред. Б. Эйхенбаума. Л., 1929. С. 40–43). «Дружеский кружок в России XVIII в. был, как правило, мужским, скрепленным узами родства (например, державинский кружок, просуществовавший до 1816 года, до возникновения литературно-дружеских кружков нового типа), соседства по поместьям, полковых связей. <...> Объединения на базе общности литературных программ были еще редкостью» (*Лотман Ю.М.* Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII – начало XIX века). М., 1996. С. 101).

²⁴ ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 232. Л. 12. Запись начала 1780-х гг., сделанная на обороте значительно ранее полученного от друга (В.В. Ханькова) письма. Цит. в: *Росси Л.* Указ. соч. С. 99. См. также: *Кулакова Л.И.* М.Н. Муравьев // Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. № 47. Л., 1939. С. 4–42. (Серия филол. наук. Вып. 4); *Фоменко И.Ю.* Из прозаического наследия М.Н. Муравьева. С. 116–130.

²⁵ *Лотман Ю.М.* О двух моделях коммуникации в системе культуры // *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 76–89.

²⁶ *Кулакова Л.И.* Указ. соч. С. 40.

²⁷ *Гинзбург Л.* Вяземский–литератор // Русская проза: Сб. статей / Под ред. Б. Эйхенбаума и Ю. Тынянова. Л., 1926. С. 12.

²⁸ См. характерную оговорку по поводу романа Ж.Ф. Мармонтеля «Инки» (1777): «вышедшее сочинение Мармонтелево “Les Incas” я еще не читал. Говорит Михайло Матвеевич [Херасков], что слог прекрасен, но целое и расположение не могут в своем роде равняться со сказками [*имеются в виду «Contes moraux», «Нравоучительные рассказы» того же автора; 1756–1761 гг.*]. Оно в прозе, хотя и стихотворческое [*т. е. лирическое*]» (271). Ср. также антироманную инвективу в заметке «О чтении романов» Сумарокова: «Романов столько умножилось, что из них можно составить половину библиотеки целого света. Пользы от них мало, а вреда много. <...> Чтение Романов не может называться препровождением времени; оно погубление времени. Романы <...> читателей научают притворному и безобразному складу, и отводят от естественного, который един только важен и приятен» (Трудолюбивая Пчела. 1759. Июнь).

²⁹ О соотношении дискурса и события, точнее – серии событий см. в характеристике исторического метода школы «Анналов» в работе М. Фуко «Порядок дискурса» («L'ordre du discours: Leçon inaugurale au Collège de France», 1970). См. также: *Кампечко С.Л.* Мишель Фуко как исследователь дискурса // *Philosophy.ru*: философский портал [Электронный ресурс]. Электронные данные. [М.?], 2006. Режим доступа: http://www.philosophy.ru/library/ksl/katr_012.html, свободный. Заглавие с экрана. Данные соответствуют 8.09.2006.

³⁰ Формула самого Муравьева из неопубликованного письма 1778 года: «Не всегда обладает нами истинное соревнование ко всему тому, что есть прекрасного в жизни нашей, и **величественное размышление самого себя** занимает только некоторые уединенные мгновения». Цит. по: *Макогоненко Г.П.* Указ. соч. С. 34. В «Дщицах для записывания» эта формула имела несколько иную, «эстетизированную» форму: «**наслаждающееся размышление самого себя**» (*Муравьев М.Н.* Дщицы для записывания // Утренний свет. 1778. Ч. IV. С. 376).

³¹ *Фоменко И.Ю.* Из прозаического наследия М.Н. Муравьева. С. 116–130.

³² *Кулакова Л.И.* Указ. соч. С. 28.

³³ «Валидным является такое высказывание, которое – в силу различных причин, включается в открытый для социума дискурс <...> Валидные высказывания определяют формирование литературной нормы и стилистической системы» (*Ревзина О. Г.* Язык и

время в пушкинском поэтическом контексте // Пушкин и поэтический язык XX века: Сб. статей, посвященных 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. М., 1999. С. 183; с отсылкой к герменевтике Гадамера: *Гадамер Х.-Г.* Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. Оригинальное название – «Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik», 1960).

³⁴ *Топоров В.Н.* Из истории русской литературы. Т. II.: Русская литература второй половины XVIII века: Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Кн. I. М., 2001. С. 14. Н. Карамзин стал первым издателем собраний произведений писателя (Опыты истории, писем и нравочений: В 2 т. М., 1810). Позже К.Н. Батюшков и В.А. Жуковский издали «Полное собрание сочинений М.Н. Муравьева» (далее ПСС, с указанием части и страницы), которое на долгое время определило рецепцию его творчества.

³⁵ *Муравьев М.Н.* Дщицы для записывания. С. 375. В своих записках Муравьев называет себя еще «мудрецом единого мгновения» (ПСС. Ч. 3. С. 274).

³⁶ *Бахтин М.М.* Эпос и роман: О методологии исследования романа (1941) // *Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 466.

³⁷ Там же. С. 472–473.

³⁸ *Пушкин А. С.* Полное собр. соч.: В 10 т. Т. 5: Евгений Онегин; Драматические произведения. Л., 1978. С. 52. Ср. почти дословное совпадение с фрагментом Муравьева: «В последние годы противу развращения сердца я сделал было себе щит из Клейста, Руссо и Виланда и присваивал себе, или лучше сказать, воображал, что присвоил их язык, их чувствования» (ПСС. Ч. 3. С. 286).

³⁹ В рассмотренных выше письмах стиховые вставки сравнительно немногочисленны и выполняют чаще всего роль орнамента, а не смены кода. В письмах Муравьева 1776 года было больше стиховых вставок, сближающих их с традицией особой формы «письма в стихах и прозе» («Lettre en verse et en prose»; Skwarzyńska S. Teotia listu. Lwów, 1937. S. 342–343), нашедшей позже блестящее продолжение в арзамасской дружеской переписке (*Росси Л.* Указ. соч. С. 104).

⁴⁰ См. в «Поэтике бытового поведения» Ю.М. Лотмана, где после оформления «системы жанров поведения», которая складывается под воздействием жанровой системы, функционирующей «в сфере эстетического сознания высокой культуры XVIII в.», начинается выработка категории поведенческого амплуа-маски (*Лотман Ю.М.* Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 248–268).

⁴¹ Там же. С. 248.

⁴² Помимо эпистолярного романа-памфлета Монтескье и светской переписки (например, мадам де Севинье), роль образцов и источников поведенческих (в частности, эпистолярных) моделей сыграли романы С. Ричардсона, Шодерло де Лакло, Ж.-Ж. Руссо и «Страдания молодого Вертера» И.В. Гёте. Не следует забывать, что «читатель XVIII в. не ограничен национальными рамками. Он, даже по сравнению с искусственным читателем первой половины XIX в., заинтересованным, однако, именно русской литературой, воспринимает разноязычную литературу как некоторый единый круг чтения. <...> Факт значительно большей поликультурности читателя XVIII в., чем в предшествующие и последующие эпохи, неоспорим и должен учитываться при изучении “читательского аспекта”» (*Лотман Ю.М.* Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века. С. 118).

⁴³ *Кочеткова Н.Д.* Исповедь в русской литературе конца XVIII века // На путях к романтизму: Сб. науч. трудов. Л., 1984. С. 71–99.

⁴⁴ *Лотман Ю.М.* Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века. С. 286.